

Atanasova-Sokolova, Deniz

Эпистолярность А.С. Пушкина

In: *Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech*. Pospíšil, Ivo (editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, pp. [125]-139

ISBN 8021023007

Stable URL (handle):

<https://hdl.handle.net/11222.digilib/132482>

Access Date: 16. 02. 2024

Version: 20220831

Terms of use: Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University provides access to digitized documents strictly for personal use, unless otherwise specified.

ЭПИСТОЛЯРНОСТЬ А. С. ПУШКИНА

Дениз Атанасова–Соколова (Budapest)

В истории мировой культуры есть периоды, когда эпистолярное начало, эпистолярные тексты приобретают особую значимость не только в литературных процессах эпохи¹, но и для культуры в целом. Для таких эпох представляется плодотворным как можно более целостное рассмотрение всех текстов, отмеченных качеством, которое в дальнейшем будет определено как «эпистолярность». В истории русской культуры таким периодом была первая треть XIX века, пушкинский период русской литературы и культуры. Именно поэтому, для того, чтобы получить верное представление об особенностях культуры этого периода, необычайно важно определить характер эпистолярности самого А. С. Пушкина.

С формальной точки зрения к эпистолярным текстам Пушкина можно отнести его частные письма и стихотворные послания. Однако, если вспомнить стержневую роль эпистолярных эпизодов в «Евгении Онегине», незаконченный «Роман в письмах», место фиктивного письма, приводимого издателем А. П. в качестве предисловия к «Повестям Белкина», публицистический и автобиографический эпистолярный (перечисление можно было бы продолжить), картина окажется куда более сложной. И сложность ее объясняется не только многообразием и богатством эпистолярных родов и видов в творчестве Пушкина, а так же их включенностью в контекст эпистолографии всей эпохи. У Пушкина эпистолярное начало является качеством, имманентно присущим его художественному видению. Таким образом, очертив хотя бы приблизительный круг произведений Пушкина, которые входят в его эпистолярный, следует найти и подход, при помощи которого становится возможным описание указанного качества – «эпистолярности».

В первую очередь необходимо присмотреться к «истории» эпистолярных текстов в рамках творчества Пушкина. Она начинается первым известным, но не дошедшим до нас письмом к сестре из Лицея 1811 года (Летопись, I, с. 23), и кончается последней издательской запиской, адресованной А. О. Ишимовой от 27 января 1837 года

¹ См. об этом в статьях Ю. И. Тынянова «Литературный факт» и «О литературной эволюции» (Тынянов 1929, с. 5–30, 30–48), а также отдельные замечания М. М. Бахтина в его работах «Слово в романе» (Бахтин 1975, с. 193 и след.) и «Проблема речевых жанров» (Бахтин 1979, с. 245–280).

(Письма посл. лет, № 250)². Между этими двумя письмами пролегал история пушкинской эпистолярности, имеющая свои внутренние закономерности.

Даже не слишком пристальным взглядом можно обнаружить отличия в эпистолярном творчестве Пушкина первого (примерно до 1826 года) и последнего (1830–е годы) периодов. Между ними же – пятилетний период, отмеченный невероятной интенсивностью поисков и экспериментов, которые вели к переосмыслению конструктивных принципов, признаков и функций эпистолярного начала.

Каковы же особенности эпистолярности Пушкина первого периода, охватывающего лицейские и петербургские годы, а также годы южной и михайловской ссылок? Во многом эпистолярное начало в творчестве Пушкина этого периода определялось его причастностью к разным дружеским литературным кругам (к лицейскому братству поэтов, а также к «Арзамасскому обществу безвестных людей»). Эти объединения стали лабораторией, в которой вырабатывались новые нормы не только литературы и литературного языка, но и новый кодекс бытового поведения людей послекарамзинской, но еще додекабристской эпохи. Одним из самых ярких выражений этих поисков стал эпистолярный жанр – в его вариантах прозаического дружеского письма и стихотворного послания. Письмо, которое по традиции принято считать принадлежащим не к культуре, а к быту, при определенных условиях перемещается в «центр литературы» (Тынянов 1929, с. 22–24), в центр культуры. В качестве одного из условий этого сдвига Ю. М. Лотман выдвигает семиотизацию бытового поведения, сферы быта, произошедшую на протяжении XVIII века, которая позже, в начале XIX века привела к «стремлению <...> слить жизненные и художественные тексты воедино» (Лотман 1992 // Поэтика бытового поведения, с. 249). Связано это было, с одной стороны, с перестановкой в иерархии типов поведения, когда при выборе из возможных альтернатив ценными начинали осознаваться типы поведения неофициальные или даже антиказенные, повысилась значимость человеческой личности с ее частной жизнью. Идеалом этого типа поведения стала дружба с ее интерперсональностью, основанной не на социальной или административно–государственной

2 В письме к С. Л. Пушкину от 15 февраля 1837 года В. Жуковский особо выделяет этот предсмертный «эпистолярный жест» Пушкина: «Его спокойствие было удивительное; он занимался своим «Современником» и за час перед тем, как ему ехать стреляться, написал письмо к Ишимовой. <...> Это письмо есть памятник удивительной силы духа: нельзя читать его без умиленья, какой-то благоговейной грусти: ясный, простосердечный слог его глубоко трогает, когда вспомнишь при чтении, что писавший это письмо с такой беззаботностью через час уже лежал умирающий от раны» (Пушкин в восп., Т.2, с. 425).

нерархии, а на *со-при-частности* равнозначимых индивидуальностей. Дружеское письмо стало не только наиболее адекватным выражением дружбы, но и референтным по отношению к ней текстом. Каждое отдельное письмо одновременно моделировало поведенческую ситуацию (разговор друзей), язык описания этой ситуации и диалога, происходящего в этой ситуации, а также и роли ее участников (адресанта и адресата), которые присутствуют на равных правах в его тексте.

Первый из уровней этой модели – эпистолярная ситуация – реализуется чаще всего как описание разговора друзей «на досуге»:

30 Один в каморке тесной
Вечерней тишиной
Хочу, мудрец любезный,
Беседовать с тобой.
<...>

38 Покамест сон прелестный,
Под сенью тихих крыл,
В обители безвестной
Меня не усыпил,
Морфея в ожиданьи
В постеле я лежу
И беглое посланье
Без строгого старанья
Предателю пишу.
Далече той станцы,
Где Фебовы сестрицы
Мне с негой вьют досуг,
Скажи – среди столицы
Чем занят ты, мой друг?

Послание к Галичу [«Где ты, ленивец мой?...», 1815] (1, 118–119)³

Даже в этом небольшом отрывке можно заметить некоторые типичные для эпистолярного жанра приметы описания «беседы» и одновременно процесса написания письма / послания, моделирующее этот разговор. Знаменательна сама по себе взаимозаменяемость звучащего слова (разговора) и текста письменного («беглого послания»). Причем происходит как бы переосмысление качеств этих двух типов речи. Первая – в противовес традиционному представлению о ненормированности разговорного языка – наделяется трафаретами и эти-

³ В дальнейшем ссылки даются с указанием названия произведения Пушкина по изданию: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10 т. Изд. 4-е. Л., 1977–1979. с указанием тома (арабской цифрой) и страницы, а цитаты из «Евгения Онегина» – с указанием главы (римской цифрой) и строфы (арабской цифрой).

кетными клише социальных форм общения: это не разговор, а «беседа». В то же время послание, сугубо литературная форма общения, наполняется «прозой жизни», ее литературность – при сохранении признаков литературной условности – оборачивается отказом от социальных шаблонов поведения.

В этом отношении не менее показательны, например, письмо Пушкина дяде В. Л. Пушкину от 22 декабря 1816 года⁴, во вступительной стихотворной части которого младший поэт–племянник обращается к старшему на ты⁵:

Тебе, о Нестор Арзамаса,

<...>

Тебе, мой дядя, <...>,

чтобы потом, в прозаической части перейти на вы, вполне соответствующее социальным нормам общения: «В письме вашем вы назвали меня братом, но я не осмелился назвать вас этим именем, слишком для меня лестным» (Письма, № 3, а так же Пушкин 1994, с. 176–177).

Обращает на себя внимание и пара топосов «каморка тесная» («обитель безвестная», «станция») / «столица», которые дают один из вариантов двойственного эпистолярного пространства. В письме / послании эта двойственность не только является предпосылкой возникновения эпистолярного текста, но входит определяющей чертой и в характеристику персонажей (адресанта и адресата). Хотя эти топосы в стихотворном послании характеризуются определенной степенью условности, но «сквозь налет условности порой проступали зорко схваченные детали реальности, жизнь вещей, предметный мир, изредка воплощаемый в той колористически насыщенной манере, которая побуждает вспомнить «бытовую живопись» Державина. Иногда в кругозор послания попадали и лаконичные жанровые «сценки», отмеченные интересом к «простой натуре». Таковы эпизоды провинциального быта в знаменитом «Городке» (1815; 1, с. 83–93)» (Грех-

4 По традиции это письмо обычно публикуется в корпусе эпистолярного наследия Пушкина. Впервые оно включено целиком в составе стихотворений в издании 1994 года, «так как представляет собой не только факт эпистолографии, но и особый тип послания с перемежающимися фрагментами стихотворных и прозаических текстов, разделить которые можно лишь искусственно» (Пушкин 1994, с. 622).

5 Вообще обращение на ты является условно–литературным выражением интимности общения между адресантом и адресатом, характерным именно для послания, и ощущается как значимое на фоне этикетного «Вы», присущего изначально сфере внелитературной, сфере быта. Использование обращения на вы в посланиях же придает им комплементарный характер, сближает их скорее с произведениями мадригального типа (см., например, шутовское послание–матригал сестре Л. А. Дельвига «К бар. М. А. Дельвиг»: «Вам восемь лет, а мне семнадцать было...», 1815; 1, с. 134).

нев 1978, с. 46). В приводимом отрывке небрежность написания, ссылка на которую является довольно обычным эпистолярным трафаретом, оправдывается тем, что автор пишет послание, лежа в постели. При этом нельзя забывать, что условным «здесь» / «там» послания соответствуют вполне реальные в письме обозначения места написания (отмечаемого, как правило, в конце, рядом с датой) и адрес, по которому отправляется письмо адресату. Инвариантом же «кегли, обители» «философа ленивого» может оказаться пир, куда переносится разговор «за чашей круговой», воспроизводимый посланием.

Второй уровень моделирования – это воспроизведение в письменной форме устной речи с ее опущениями, намеками, двусмысленностями, шутками и эллипсами, с текстовыми пропусками, которые компенсируются обращением к внетекстовому миру – к личности адресата и к общей для него и адресанта памяти. Этот уровень имел особое значение в период становления нового литературного языка, в языковой ситуации первой трети XIX века. Выдвинутый еще Карамзиным принцип «писать как говорят» и «говорить как напишет человек с талантом» (Карамзин 1984, 2, с. 124) содержал в себе одновременно несколько требований: как требование создания единого для всей культуры устного и письменного литературного языка, так и требование снятия оппозиции «устная речь – письменная речь», респективно французско–русского двуязычия. При этом объектом обсуждения и споров этого периода становится язык литературы не только в его взаимоотношениях с языком / языками других сегментов культуры, т. е. по горизонтали, а и в его взаимоотношениях – по вертикали – с литературной традицией, с установившейся в предшествующий период нормой его функционирования. В этих условиях арзамасские и вообще дружеские письма и послания Пушкина и его сомышленников становятся чуть ли не самым значительным фактом языковой ситуации начала века. Их переписка и обмен посланиями, как единый текст, может рассматриваться и в качестве предельно субъективного исторического дискурса о спорах о языке, и как исторический факт, описываемый этим дискурсом. В то же время дружеские письма пушкинского круга поэтов играют роль эталона нового языка, тем более, что по своей природе письмо является очень удобным средством языкового эксперимента, как с точки зрения устной, так и письменной речи; оно становится как бы реализацией карамзинской установки на снятие противопоставления этих двух форм речи. В итоге можно сказать, что письма и послания арзамасской ориентации у Пушкина служили и доказательством возможности единого для письменной и устной коммуникации языка, и становились моделью этого языка.

На этом же уровне раскрывается и еще одна, на этот раз совершенно неповторимая черта пушкинского эпистолярия. На связь языкового протензизма писем и посланий Пушкина с третьим уровнем эпистолярного моделирования, с воссозданием облика адресата указывал в своей статье «Пушкин по его письмам» еще В. В. Сиповский: «Особенность этих писем <...> заключается в том, что образ поэта меняется в зависимости от того, к кому он пишет, меняется до неузнаваемости, до слияния с чужим образом <...>. Положительно нельзя поверить, что писаны они одним лицом: стоит вчитаться в них, всмотреться, – и мы сможем по ним писать характеристики тех, кому они были отправлены» (Сиповский 1902, с. 457–458)⁶. Таким образом, эпистолярно–языковой протензизм Пушкина первого периода служит основой для прямых и опосредствованных автохарактеристик и авторефлексий, для конструирования и реконструирования характеров. В результате этого дружеское письмо / послание становится средством не только коммуникации между адресантом и адресатом, но и автокоммуникацией, в результате которой происходит перестройка его личности. Осуществление этих функций находит поддержку в тенденции к циклизации дружеских писем: при определенной текстовой законченности каждое письмо является одновременно репликой, на которую следует ответ, в свою очередь вызывающий новую ответную реакцию и т. д. Эта тенденция становится особенно заметной в случае включения отдельного пушкинского эпистолярного текста в его переписку с членами дружеского общества, «Арзамасского общества безвестных людей» (Гиллельсон 1974, Краснокутский 1977).

Далеко не полный анализ эпистолярности Пушкина первого периода стоило бы закончить проблемой литературности пушкинского (дружеского, стихотворного и т. п.) послания. Здесь приходится считаться как с «оглядкой», ориентацией жанра письма на другие литературные тексты, так и с тем, каков тот жанровый сегмент, который был отвоеван им в жанровой системе эпохи. С правом можно утверждать, что в рассматриваемый период не только творчества Пушкина, но и развития всей русской литературы, эпистолярность, понимаемая как качество литературного текста, как реализация ряда атрибутов, характерных для эпистолярных текстов в языковом, структурно–композиционном, тематическом и идейном плане,

⁶ Ср. у В. Е. Якушкина: «... письма Пушкина представляют еще особый интерес по манере, какою они писаны, по их живому изложению, в котором не только всегда отражается личность автора, его настроение, но которое дает чувствовать и личность того лица, к кому адресовано письмо» («Русские ведомости», 1903, 18 декабря).

агрессивно вторгается в жанровую систему и переделывает ее по своему образу и духу. По принципу разговорности и словесной игры письмо оказывается удобным для обновления жанров литературного салона и «легкой поэзии»: пародии, эпиграммы, шуточной эпитафии, каламбура, *bonmot*, афоризма, мадригала, посвящения, и одновременно насыщается заимствованными из них элементами. По тематическому и характерологическому – оно вступает в сложные комбинации с элегией, господствующим жанром эпохи. Результатами таких комбинаций и функциональной взаимозаменяемости становятся, например, элегическое послание⁷ или надпись к портрету⁸. Наконец, учитывая, что, хотя в этот период дружеское письмо ценилось преимущественно за свою «литературность», это не снимало «документальные» возможности жанра. Так – по функциональному признаку – оно сближалось с явлениями мемориального и информативно-мнемонического ряда (дневник, записки, воспоминания; альбом). Что же касается соотношения внутри эпистолярного жанра – (дружеского) письма и стихотворного послания – можно утверждать, что дружеское письмо и стихотворное послание оказываются на правах инвариантов и, в результате этого, создают множество комбинаций сращения. Без намерения исчерпать полный набор этих комбинаций, можно перечислить наиболее типичные: комбинация «реплика» = стихотворное послание – «ответ» = дружеское прозаическое письмо или наоборот; вкрапление стихотворного текста в прозаический, играющее роль замены части одного текста разнородным по организации куском; выделение композиционно акцентированных частей текста (начало, конец) переводом из прозаической в стихотворную речь; введение разнородных по организации языка цитат; репродукция дружеского письма стихотворным посланием. В определенном смысле можно сказать, что эти два жанра попеременно выполняют функцию метатекста друг к другу.

Подводя итоги, можно сказать, что в пушкинской эпистолярности первого периода ведущим принципом становится синтез. Письма и послания становятся средствами выражения и одновременно реализацией культурного полиглотизма Пушкина, его культурного жизнетворчества в множественности диалогов с окружающим его миром культуры.

⁷ См. например, «Элегия» 1817 года («Опять я ваш, о юные друзья!..»; I, с. 212–213).

⁸ Особую тему могло бы составить сопоставление, с одной стороны, посланий и писем, например, П. Я. Чаадаеву, П. А. Вяземскому или П. П. Каверину, с «надписями к портретам» этих лиц. Надпись сближает с посланиями абсолютность установки на адресата, соответственно на изображенного в словесном портрете. Это подтверждается среди прочего словесными аналогиями с эпистолярными трафаретами характеристики адресата посланий.

Переходя к рассмотрению эпистолярности в творчестве Пушкина второго и третьего периода, следует учитывать, что изменения, произошедшие внутри жанра и в положении его в жанровом мышлении эпохи, имеют насколько глобальный, общий для всей литературной ситуации характер, настолько и индивидуальное, чисто пушкинское звучание. «Как только исчерпает себя ощущение эстетической полярности бытового и духовного⁹, <...> как только бытовое, освободившись от схематизирующей условности, естественно и органично войдет в поле зрения поэзии – так сразу же исчерпает себя и жанровый объект дружеского послания, а вместе с ним и историко–литературная потребность в этом жанре. <...> В 20–е годы исчерпывает себя не только жанровый объект послания, доступные ему вехи обзора реальности, но и образ общения, в котором была закреплена его коммуникативная установка» (Грехнев 1978, с. 47–48). Связано это, среди прочего, с трансформацией форм литературного быта, когда литературные общества, объединявшиеся не только общностью литературных интересов, но и спайкой дружеских уз, были заменены менее крепкими связями литературных группировок, организующихся вокруг литературных платформ и их форумов – журналов. Эти тенденции привели к тому, что эпистолярная стихия очевидным образом идет на убыль: стихотворные послания или вообще исчезают из творческой практики поэтов–арзамасцев старшего поколения и поэтов «пушкинской плеяды», или претерпевают коренные структурные изменения, превращаясь в лирические стихотворения–обращения элегической тональности, сохраняющие лишь рудиментно некоторые особенности эпистолярной поэтики.

Особенно показательны в этом плане стихотворения Пушкина, посвященные лицейским годовщинам¹⁰. В них сохраняются такие эпистолярные элементы, как обращение к адресатам, изображение двойственного эпистолярного пространства с присущим ему мотивом дороги, связывающей реальные и идеальные («здесь» и «там»), совмещение реального (момента создания текста) и виртуального (момента восприятия адресатом) настоящего времени в их диалоге с прошлым воспоминания и предсказанием грядущих времен. Наряду с этим, однако, резко меняется функция образа адресатов. Из субъектов произведения, входящих в его ткань со своим словом, наравне с образом

⁹ Эта полярность реализовывалась как «двосмыслен» послания, лишённого остроты противопоставления и трагизма фатального распада.

¹⁰ Сюда относятся стихотворения «19 октября» (1825; 2, с. 244–247), «19 октября 1827 года» (3, с. 34), «19 октября 1828 года» (3, с. 77), «Чем чаще празднует лицей!...» (1831, 3, с. 215–216), «Была пора: наш праздник молодой!...» (1836; 3, с. 341–342), к которым примыкают в некоторой степени послания «И. И. Пушкину» (оконч. ред. 1826; 2, с. 306) и «Во глубине сибирских руд» (1827; 3, с. 7).

автора ранних посланий, адресаты стихотворений лицейского «цикла» второй половины 1820–1830-х годов превращаются в объект изображения и размышлений лирического героя–автора. Подобным метаморфозам подвергаются и прозаические эпистолярные тексты. Как у Пушкина, так и у его современников, письма уходят в большой степени в сферу частного бытия, теряя свою общезначимость и – попутно – богатство эпистолярных вариантов сочетаемости прозаических и стихотворных фрагментов. Можно сказать, что основной тенденцией стало количественное и структурное оскудение эпистолярных текстов.

Однако, вырисовывающаяся схема окажется далекой от объективного отражения действительных тенденций литературного развития, в первую очередь, Пушкина, если при этом будем забывать о других проявлениях интереса к эпистолярному началу. Эпистолярность, отказываясь от своих претензий на всеушность, начинает, с одной стороны, «специализироваться», а с другой – уходит в глубь, в «подсознательное» художественного мышления. Проявлениями первого являются разнообразные варианты эпистолярной публицистики и мемуаристики, а так же эксперименты в области воспроизведения чужого слова путем введения писем персонажей в ткань рассказов, повестей и романов¹¹. «В целом, письма, которые Пушкин пишет от лица своих героев, вводя их в ткань повествования, заметно отстоят от собственно пушкинской эпистолярной манеры. <...> Пушкину оказывается наиболее интересным воссоздать не свою, но чужую манеру письма: народного, письма XVIII века, психологического» (Дмитриева 1986, с. 175).

В совершенно другое направление стремятся эксперименты Пушкина по созданию эпистолярного романа. На первый взгляд может показаться, что обращение Пушкина к этому типу романа является то ли анахронизмом, то ли кончившейся неудачей жанровой инновацией, опережающей свое время. Кажется ни одно, ни другое не соответствует истине. Действительно, кончился период расцвета эпистолярного романа, представленного блестящими образцами во французской, английской и немецкой литературах, в первую очередь, эпохи Просвещения. Однако, пушкинский «Роман в письмах» (1829) только формально может быть связан с традицией этого романного

¹¹ Эпистолярные вставки появляются во всех прозаических произведениях Пушкина за исключением двух повестей из цикла «Повестей Белкина» («Выстрел» и «Гробовщика») и некоторых незавершенных фрагментов. Здесь я имею в виду, например, фиктивное письмо в предисловии к «Повестям Белкина» и письма персонажей «Метели» и «Барышни–крестьянки», «Капитанской дочки», «Дубровского», «Арапа Петра Великого», «Ликовой дамы» и отрывка «Гости съезжались на дачу» и т. д.

вида¹². С другой стороны, он не создал традицию для последующей русской литературы. Вообще в русской литературе эпистолярному роману крупно «не повезло». За исключением романа «Бедные люди» Ф. М. Достоевского, значительно более органично связанного с указанной европейской традицией, этот вид романа остался чужд русской «высокой» литературе. Причины же нетрадиционности «Романа в письмах» Пушкина заключаются в том, что составляет его уникальность: «основу писем героев пушкинского романа составил все тот же пушкинский тип письма, с его интеллектуальными раздумьями и общей завуалированностью внутренней жизни» (Дмитриева 1986, с. 184), с его построением не просто как эпистолярного диалога, а как разговора персонажей, проникнутого внутренним диалогизмом. В этом смысле единственную верную аналогию ему мы можем найти в реализации эпистолярного начала в романе в стихах «Евгений Онегин».

Для выяснения характера эпистолярности романа в стихах «Евгений Онегин» (в дальнейшем – *ЕО*) стоило бы рассмотреть не только особенности писем Татьяны и Онегина (в дальнейшем – *ПТ* и *ПО*) в отдельности и в их соотношении, но и их место в конкретных пунктах фабулы (то, что может быть обозначено как эпистолярный эпизод: сначала – повод к написанию письма, процесс формулирования письма, само письмо, а потом – восприятие письма, ответ на него), взаимоположенность этих эпизодов, а также – значение и роль этих эпизодов с точки зрения единства романа. Не останавливаясь подробно на анализе эпистолярных признаков *ПТ* и *ПО*¹³, можно утверждать, что они являются существенными компонентами конструирования многоголосия и многоплановости пушкинского *ЕО*. Особенно явственно это проявляется в том, что «симметричные композиционные рамки, в которые оформляется поэтом и основная любовная фабула романа – отношения между Онегиным и Татьяной <...> строится на тех же основных опорных моментах – письмо и ответное объяснение <...>» (Благой 1955/1973, с. 167). Точнее, опорные моменты два эпизода, центром которых являются письма. Началом эпизодов являются встречи – «узнавание»: в третьей главе – со стороны Татьяны («Ты чуть вошел, я вмиг узнала»), в восьмой – со стороны Онегина («Ужели, думает Евгений, – / Ужели она? Но точно... Нет...»). Потом описывается возникновение и нарастание чувств героев, их

¹² Об этом см. работы: Вольперт Л. И. Пушкин и Шодерло де Лакло: На пути к «Роману в письмах»// Пушкинский сб-к. Уч. зап-ки Ленингр. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена. Т. 483. Исков, 1972. И ес же. Пушкин и психологическая традиция во французской литературе: К проблеме русско-французских литературных связей конца XVIII – начала XIX вв. Таллинн, 1980.

¹³ Подробнее об этом см. в работах: Атанасова–Соколова 1998, а также Скачкова 1983.

Лета к суровой прозе клонят,
Лета шалунию рифму гонят...

<...>

Другие, хладные мечты,
Другие, **строгие** заботы
И в шуме света и в тиши
Тревожат сон моей души.

(VI, 18)

По сути дела, эпистолярный Пушкина третьего периода характеризуется именно этими качествами: смирением до будничности семейной переписки и суровой строгостью делового, официального и публицистического эпистолярия.

Три периода – три признака: синтез – эксперимент – пуризм. По сути дела этими тремя понятиями в самом общем виде можно было бы охарактеризовать не только этапы эволюции эпистолярности в творчестве Пушкина, но и эпистолографию его времени. Однако, это было бы темой более обширной работы, посвященной синхронно–сравнительному анализу эпистолярности Пушкина на фоне и в связи с эпистолярным наследием таких его непосредственных предшественников и современников, как, например, Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, А. И. Тургенев и др. Не вдаваясь здесь в подробности сравнения, хотелось бы обратить внимание на то, что эпистолярность Пушкина в этом плане – явление, с одной стороны, репрезентативное по отношению к эпистолярности первой трети XIX века. С другой – она же и явление уникальное во всех смыслах этого слова. Уникальность эпистолярной манеры Пушкина не исчерпывается ни ответами гения, остающимся гением и в этой области, ни редким многообразием и богатством эпистолярных жанровых инвариантов, представленных в его творчестве, ни значимостью места, которое занимают эпистолярные тексты в нем. У слова «уникальность» есть и значение «единственности» с оттенком «неповторимости, неповторяемости, неповторённости». Именно так и обстоит дело с эпистолярностью Пушкина. Уникальна позиция Пушкина–эпистолографа среди его современников, не повторённой она осталась и потомками. Говоря по–другому, эпистолярность Пушкина не создала традицию. Отчасти этот парадокс – репрезентативной единственности – можно объяснить той чертой творческого и человеческого облика Пушкина, которую Достоевский называл «всемирной отзывчивостью», а Белинский – «протеизмом» поэта. Как выше отмечалось, Силовский, выявляя суть пушкинского эпистолярного протензма, указывал на способность Пушкина писать письма (и послания) каждый раз «под конкретного адресата», находя не просто общий язык и общий круг интересов, но воспроизводя облик – человеческий и стилевой – своего корреспон-

дента, более того, варьируя свой собственный образ и стиль навстречу ожиданиям другого. И хотя протенстичность эпистолярной установки Пушкина не константна на протяжении его творчества (на разных этапах и в разных эпистолярных текстах), именно она сделала его эпистолярность настолько нетрадиционной и неповторимой. С другой стороны, суть этой установки – обращенность, открытость другому, отзывчивость на другого, делает ее репрезентативной не только по отношению к эпистолографии, но и вообще – к русской культуре первой трети XIX века.

Рассмотрение эпистолярности Пушкина этим не исчерпывается. В дальнейшем хотелось бы только наметить возможность и других подходов к этой огромной теме, которые в сочетании с эволюционным и синхронно–сравнительным, о которых шла речь до сих пор, позволили бы получить более полное представление не только об эпистолярности Пушкина, но и о русской литературе и культуре пушкинского периода. Пожалуй, наиболее изученными оказались разные грани диахронического, литературно–исторического аспекта рассмотрения эпистолярности Пушкина: сопричастность пушкинского эпистолярия европейской и русской эпистолярной традиции (в первую очередь, традиции дружеского письма, послания и психологического эпистолярного романа); место его в развитии русской эпистолярной культуры XVIII – XIX вв.; связь эпистолярной практики Пушкина с теоретическими и практическими риториками и поэтиками XVIII – начала XIX вв.; значение эпистолярного жанра в истории становления русского литературного языка и т. п. Сюда же относится анализ пушкинской эпистолографии с точки зрения ее связей с литературными и языковыми процессами, взрывообразно изменившими литературный и культурный ландшафт первых трех десятилетий XIX века. В этот же аспект входит и история рецепции и интерпретации пушкинской эпистолярности в период после его смерти, и то, что становление подхода к истории творческой личности, к изучению наследия и жизни писателя, во многом будет опираться на осмысление именно эпистолярного корпуса текстов Пушкина, проделанное впервые П. В. Анненковым, положившим тем самым начало пушкиноведению, как литературно–исторической научной дисциплины.

Всю совокупность эпистолярных текстов можно рассматривать и в синхронно–поэтическом аспекте, что позволяет – после выявления признаков эпистолярности в узком смысле слова – сделать определенные выводы об особенностях вообще эпистолярного жанра и его прозаических и стихотворных инвариантов, в частности. На некоторые из этих особенностей я указывала, характеризуя пушкинский эпистолярный, преимущественно, первого периода, когда письмо / послание проявлялись в наиболее выкристаллизованном, «чистом» виде. Среди

прочего, это хронотоп особого, эпистолярного типа, основным признаком которого является отражение двойственного представления о мире, распадающемся одновременно на реальное и виртуальное время и пространство, на реальное и идеальное время и пространство, соответствующие двухфокусовой субъектной структуре, распределяющей словесную ткань произведения между более или менее равнозначимыми голосами адресата и адресанта–автора. Тексты пушкинского эпистолярного коруса характеризуются наличием довольно устойчивого набора мотивов, которые только отчасти восходят к эпистолярно–риторическим трафаретам и литературной эпистолярной традиции. Таковы, например, мотивы досуга, лени, сна, поэзии; кельи (монастыря, обители), дороги; мотив библиотеки, ассоциирующий с миром культуры и одновременно служащий проводником метатекстовых моментов и автохарактеристик и т. д.

В итоге, обращаясь к эпистолярным текстам Пушкина с культурологической точки зрения, нетрудно установить, что они выполняли несколько взаимодополняющихся функций: во-первых, они являются проявлением жанровых поисков, литературной эволюции и общекультурных процессов эпохи. Во-вторых, на уровне содержания эпистолярные тексты обсуждают и объясняют эти явления. И наконец их можно рассматривать в качестве модели описания этих явлений.

ЛИТЕРАТУРА

- Акад. в 10 т. [4] Пушкин А. С., Полн. собр. соч. в 10 т. Изд. 4–е. Л., 1977–1979.
- Атанасова–Соколова 1998 Атанасова–Соколова Д., Заметки об эпистолярности в «Евгении Онегине» // *Nyelv, stílus, irodalom: Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára*. Budapest, 1998. P. 38–47.
- Бахтин 1975 Бахтин М. М., Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. М., 1975.
- Бахтин 1979 Бахтин М. М., Эстетика словесного творчества. М., 1979.
- Благой 1955/1973 Благой Д. Д., Пушкин–зодчий. // В его кн.: От Кантемира до наших дней. В 2–х тт. М., 1973. Т.2. С. 88–231.
- Грехнев 1978 Грехнев В. А., Дружеское послание пушкинской поры как жанр. // Болдинские чтения. Горький, 1978. С. 32–48.
- Дмитриева 1986 Дмитриева Е. Е., Эпистолярный жанр в твор-

- честве А. С. Пушкина: Дисс. на соискание уч. степ. Кандидата филологич. наук. М., 1986.
- Карамзин 1984 Карамзин Н. М., Отчего в России мало авторских талантов? // в его. Соч. в 2 т. Л., 1984. Т. 2, с. 123–126.
- Гиллельсон 1974 Гиллельсон М. И., Молодой Пушкин и арзамасское братство. Л., 1974.
- Краснокутский 1977 Краснокутский В. С., О своеобразии арзамасского «наречия.»// Замысел, труд, воплощение. Сб. статей под ред проф. В. И. Кулешова. Москва, издат. Моск. ун-та, 1977. С. 20–40.
- Летопись Цявловский М. А., Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. I. М., 1951.
- Лотман 1992// Поэтика бытового поведения Лотман Ю. М., Избранные статьи. В 3-х т. Таллинн, 1992 // Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века. Т. I., с. 248–269.
- Паперно 1974 Паперно И. А., Переписка как вид текста. Структура письма. // Материалы Всесоюз. Симпозиума по втор. модел. системам. I (5). Тарту, 1974. С. 214–215.
- Письма Пушкин, Письма/ Под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского. М.; Л., Т. I – II, 1926–1928. Т. III, 1935.
- Письма посл. лет Пушкин, Письма последних лет (1834–1837). Л., 1969.
- Пушкин 1994 Пушкин А. С., Стихотворения лицейских лет (1813–1817). / Под ред. В. Э. Вацура. СПб., 1994.
- Пушкин в восп. А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. В 2 т. Изд. третье, дополн. СПб., 1998.
- Силовский 1902 Силовский В. В., А. С. Пушкин по его письмам. // Памяти Леонида Николаевича Майкова: Сборник. СПб., 1902. С. 455–468
- Скачкова 1983 Скачкова О. Н., Дружеское послание А. С. Пушкина и «Евгений Онегин»./ Проблемы пушкиноведения: Сб. науч. трудов. Рига, 1983. С. 14–15.
- Тынянов 1929 Тынянов Ю. Н., Архаисты и новаторы. Л., 1929. (Указанные работы см. также в его книге: Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С.255–281.)

